



Зощенко Михаил Михайлович

МИХАИЛУ ЗОЩЕНКО НЕ ПОЗВОЛИЛИ НЕ УМЕРЕТЬ

Запоздавший репортаж с места казни писателя

В августе Михаилу Михайловичу Зощенко исполнилось бы 100 лет, если бы его не переехала машина социализма. Сейчас в российском обществе проклюнулась новая идея: в нашем прошлом виноваты не отдельные люди, а система. Очень аппетитная идея для идеологических кулинаров, освобождающих людей от всякой ответственности за свои поступки. Из человеческой крови можно готовить астраханские арбузы, а из разбойничьей финки — бритву "Жиллетт", а помощью которой выбривать покойника Берию до блеска скул. Есть такие цирюльники, всегда держащие наготове тазик с мыльной пеной. Нужно вспомнить Михаила Михайловича Зощенко, чтобы никто не убаюкивал себя надеждой все преступления списать на систему. Система системой, а люди людьми, и одни шли в палачи, а другие — в жертвы. Причем не всегда из любви к самому акту жертвоприношения, а часто потому, что были не в состоянии стать палачами.

О том, что люди делятся на палачей и жертв, я поняла очень рано. Среди людей школьного возраста я отличалась лишь тем, что могла очень быстро писать. Отец, который был в те годы референтом секции прозы в Ленинградском союзе писателей, пользовался моим быстрописанием. Иногда проще было получить вовремя хоть и доморощенную, но довольно точную запись собрания, чем ждать, когда будет готова перепечатанная и тщательно выверенная стенограмма. В таких случаях он приводил меня в Дом писателя на ул. Воинова, сажал в последний ряд, и я добросовестно записывала все, что слышала.

Так я попала на собрание, ставшее историческим. То самое, на котором прорабатывали Зощенко. Это собрание мифологизировалось в истории литературы во многом благодаря неуклонному вымиранию его свидетелей, и особенно благодаря известной публикации в "Огоньке" Даниила Александровича Гранина, разыскавшего официальную стенограмму собрания. Согласно стенограмме и воспоминаниям Гранина, Зощенко держался на "разборке", как Илья Муромец, и показал пример духовной отваги, сумев противостоять анонимной идеологической силе. Прочитав эти воспоминания тогда, в начале перестройки, я подивилась не столько абберрации памяти Гранина сколько большому искусству полировки и шлифовки факта, каким обладали стенографистки старой школы. Просто Микеланджело стенографии, если вспомнить, что великий скульптор процесс ваяния объяснял просто: взять камень и убрать все лишнее. Стенограмма была искусно приведена в соответствие с благообразием задачи. После этого задумалась над лукавым правом историков придавать документу силу абсолюта.

Миф о Зощенко, отважно противостоящем официальным идеологам и ушедшем с собрания с гордо поднятой головой, оказался более жи-

вучим, чем я могла предполагать. Недавно по радио поэт Владимир Вишневский сослался на пример мужественного поведения Зощенко, который гордо бросил: "Не надо мне вашего Друзина" — и никогда никого ни о чем не просил. Зощенко просил. Он стоял на трибуне, едва возвышаясь над нею, очень маленький, растрепанный, сломленный человек, и из груди его вырывался не лепет — нет, а бессвязный набор восклицаний, свидетельствующий о нестерпимой муке. "Я не хотел... не клеветал... неправда... дайте, пожалуйста... пожалуйста... я не могу... болен... трудно... дайте путевку". Он просил путевку в Дом творчества. Он бормотал, что погибает, и просил, слезно умолял дать ему путевку, потому что все время отказывают, все время говорят: нет, путевок не хватает, а сил больше нет, и если не дадут путевку...

Таким был финал выступления Зощенко на злополучном собрании. Об этом молчала лживая стенограмма, что позволило молодому поэту, "поэту-мужчине", как представили его однажды на ТВ, всерьез полагать, что времена были не таковы, чтобы ломать через колено всех подряд, что все-таки были такие молодцы, которые после того, как их переехала машина, могли заправить раздавленные кишки под ремень и сказать отважно: "Не надо мне вашего Друзина". Черта с два! Когда машина социализма переезжала человека, можно было лишь уползти

из жизни, не помня ничего, кроме имени мучителя. А мучителем была не какая-то абстрактная система, а в каждом случае отдельный человек с лицом и именем.

В данном случае человека звали Константин Михайлович Симонов, и он приехал из Москвы специально для проведения этого собрания. Не помню, чтобы на сцене Ленинградского дома писателя им. Маяковского был кто-нибудь, кроме него. Он был один. Он вел собрание, первым пунктом которого было обсуждение антинародного и антипартийного поведения Зощенко и Ахматовой. Ахматова к месту казни не явилась, а Зощенко почему-то пришел.

Константин Михайлович поразил меня своей рубашкой — в те времена таких тонких, застегнутых на три пуговицы рубашек из шерстяного трикотажа у нас не было в помине. Писатель, поднимающийся на сцену, должен был торчать из черного, застегнутого на все пуговицы пиджака, вращая головой вправо и влево с должной степенностью. И вдруг — никакого пиджака. Легко и свободно на сцену вышел красивый, слегка загорелый мужчина, отороченный благородной сединой. Я, конечно, знала его стихи, отец внушал мне даже, что "Дни и ночи" Симонова — книга, равная книгам Льва Толстого, но меня ни Лев Толстой, ни Симонов совершенно не интересовали — были в жизни дела куда более интересные и занимательные, чем литература, и единственное, что меня поразило на сцене, — это серо-голубая, жемчужного перелива рубашка, придававшая ее носителю нездешний облик. На личность небожителя я обратила внимание лишь в тот момент, когда незаметно для меня он начал превращаться из приятного джентльмена в злого, раздраженного, властного мужчину, все больше и больше выходящего из-под собственного контроля. Он встал, начал ходить по сцене, все повышая и повышая звуковой регистр своей речи. На трибуне появился человек, похожий на высушенного кузнечика, увеличенного в размере. Челове-

чек оправдывался слабым голосом, уверял, что не виноват, а если виноват, то готов исправиться, но — странное дело! — чем больше он уверял, чем униженнее молил, тем злее и беспощаднее становился обвинитель. Внезапно он сделал шаг к трибуне, выбросил по военному руку и крикнул...

Недавно, вспоминая это собрание с писательницей Ричи Достян, которая тоже была в зале, мы одновременно вспомнили этот жест и это движение навстречу обвиняемому. И ей, и мне показалось тогда, что он выстрелит сейчас по направлению к трибуне. Зал замер. Не было ни шороха, ни звука. Все оцепенели от страха. Это не гипербола. Действительно было страшно. В то время я, конечно, не могла понять, отчего страшно. Но сейчас понимаю, что терзание одного человека на глазах других погружает этих других в оцепенение. Ведь тот, кого терзают, страха уже не испытывает. Он испытывает только боль. И страдание.

Симонов ничем не напоминал штатского человека. Он был человеком в военном мундире, с лаюшей, отрывистой, командирской речью, богатой всеми оттенками властных, приказных интонаций. Позже, когда я услышала впервые слова "литературный генерал", я отнесла их в первую очередь к Симонову. Ну какой, прости Господи, генерал Бондарев со своим войском. Вот где был генерал! И даже не по окрику, не по жесту, а по необычайной свободе и огромному напору агрессивности, которая могла быть так лихо закручена лишь войной. Лишь на настоящей войне становятся генералами.

Обвинения, которыми потрясал Симонов, были громоздкими. Опять вытащили знаменитую "Обезьяну", мешанство, идеологическую беспринципность — ничего нового Симонов тут не изобрел. Новой была лишь необычайная жестокость и беспощадность, заставившая забыть в кресла даже самых испытан-



ных, ко всему привыкших аппаратчиков. Многие тихо поднимались и, вжавшись в стену, крались к выходу из зала. Голос Зощенко слабел, он уж не просил прощения за литературные грехи, а просил, чтобы позволили не умереть. Не умереть не позволили.

Как-то в квартире старейшего ленинградского писателя Геннадия Гора зашла речь о Зощенко. Незадолго до этого в журнале "Звезда" были по-смертно опубликованы воспоминания Зощенко о детстве. В этих воспоминаниях Михаил Михайлович рассказывает: как они с матерью после смерти отца остались без гроша, нищенствовали, а отец являлся довольно известным в своих кругах художником и даже, кажется, выпускником Академии художеств, то мать, взяв за руку маленького Мишу, пошла на прием к знаменитому рисовальщику и художественному пастырю Чистякову, который славился своей неизреченной добротой. Бесплодные унижения вдовы перед Чистяковым были столь ужасны, что у мальчика сделался нервный спазм — у него сдавило горло, и он не мог глотать. Михаил Михайлович вспоминает, что он едва не умер от истощения, поскольку искусственного питания в те времена не знали.

Геннадий Самойлович Гор эту посмертную публикацию Зощенко не читал, а на мой пересказ откликнулся с большим оживлением. "Во время последнего в жизни Зощенко собрания, — сказал он, — я не мог вынести этого зрелища. Вышел и спустился в ресторан. К буфетной стойке выстроилась целая очередь. К моменту, когда я приблизился к буфетчику, экзекуция как раз закончилась и был объявлен перерыв. Смотрю, к стойке направляется, едва передвигая ноги, Михаил Михайлович. Я его пропускаю, и он просит у буфетчицы воды. Та наливает ему стакан, и он пытается сделать глоток, но не может. Подносит стакан ко рту и проливает воду. Разлив полстакана, поблагодарил и ушел. Он ведь умер от истощения! Мы это знали, но думали — от голода, оказывается — нет".

...Не знаю, встретились ли уже там, за пределом, эти двое — Зощенко и Симонов. Если да, какой была эта встреча?..

Кира МИХАЙЛОВСКАЯ.

23.8.94.